

**Виктор Борисович Шкловский**

**За и против. Заметки о  
Достоевском**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Виктор Борисович Шкловский**

За и против. Заметки о Достоевском / Виктор Борисович Шкловский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 162 с.

**ISBN 978-5-4241-3170-7**

Книга «За и против. Заметки о Достоевском» - в сущности, первая работа В. Шкловского об этом писателе. Она создавалась в то время, когда в советском литературоведении возродился усиленный интерес к Достоевскому, происходила переоценка некоторых недавних, резко критических концепций, раскрывалось историческое значение литературного труда Достоевского, выяснялись действительные противоречия его мировоззрения и творчества. В 1956 году широко было отмечено 75-летие со дня смерти Достоевского; вышло много книг, статей, сборников. Заглавие книги взято у Достоевского - таково название одной из частей его последнего романа «Братья Карамазовы» («Pro и contra»); этими словами можно обозначить главный смысл внутренних борений самого писателя.

**ISBN 978-5-4241-3170-7**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Виктор Борисович Шкловский  
За и против. Заметки о  
Достоевском

*Памяти Никиты Шкловского, уби-  
того в бою с фашистами 8 февраля 1945  
года, посвящает книгу отец.*

# Введение

«Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гёте!»

Так писал Достоевский в «Дневнике писателя». Само название первой главы «Дневника» звучит так: «Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о Молитве великого Гёте...»

Это высокий голос, но голос принадлежит Достоевскому.

Вертер перед концом вспоминал и говорил о звездах.

Первый раз Лотта показала ему отрывок из Оссиана: «Звезда сумрачной ночи, как прекрасно мерцаешь ты на западе...» Это начало песен о смерти.

Второй раз о звездах говорит сам Вертер в последнем письме к своей возлюбленной. «Я подхожу к окошку и вижу, моя милая, и вижу еще сквозь выющиеся и мчащиеся тучи одинокие звезды вечного неба! Нет, вы не упадете! Предвечный хранит вас и меня в своем сердце. Я вижу звезды Возничего, самого приветливого из всех созвездий».

Вот настоящие слова Вертера. Дальше он писал о розовом банте Лотты, сохраненном в кармане фрака.

Широта картины неба, прямое сопоставление мира и человека принадлежит в начале «Дневника писателя» самому Достоевскому.

Достоевский так давно и столько раз прочел Вертера, что отдельные строки романа переставились и слились в его сознании.

Большая Медведица заменила «приветливое созвездие Возничего».

Глубоки были могилы, голоса обывателей, которых слушал и понимал Достоевский.

Но звезды, которые его вели, светят для всего человечества.

## О «Бедных людях»

Над ночной замерзшей полярной Невой опрокинулся ковш созвездия Большой Медведицы. Желтые птицы огней дремали в тусклых фонарях набережной. Черные липы Летнего сада шумели сухим деревянным слитным стуком.

В окнах города редко желтели огни.

На крутом шпиле Адмиралтейства золотой кораблик плыл под всеми парусами над огромной ледяной поляной прямо на запад.

Отделенный Летним садом от Невы, на углу Фонтанки и Мойки стоял замок: его и теперь зовут Инженерным. Замок выкрашен в розовую краску; колонны и украшения фасада из серовато-розового камня. Перед входом в замок Павел поставил охрану: Петра на спокойно идущей лошади – и написал:

*«Прадеду – правнук».*

Павел доказывал законность своего пребывания на престоле, думая в этом найти защиту.

Замок окружен садом. Тогда еще не было Малой Садовой улицы. Сад шел до Екатерининского канала.

Из угловой комнаты было видно Марсово поле – зимой белое, летом покрытое золотистой пылью и почти всегда испещренное солдатскими строями.

Там, в разрыве за Марсовым полем – круглый памятник Суворову и Невы, которую тогда еще не заслонял горб Троицкого моста.

За Невой прямо из воды вырастают гранитные стены Петропавловской крепости; на них черный ряд пушек. На Неву выходят комендантские ворота. На углу крепости прилепилась маленькая гранитная круглая будка, а за стенами подымается шпиль Петропавловского собора; у креста над шпилем косо стоит ангел.

В 1838 и 1839 году в Инженерном училище, размещенном в брошенном дворце, в амбразуре окна писал юноша – плотный, светлокудрый, круглолицый, бледный, сероглазый, слегка веснушчатый, немного курносый – сын лекаря Федор Достоевский.

Воспитанники Инженерного училища назывались не кадетами и не юнкерами, а кондукторами. Одна треть учащихся были прибалтийские немцы, треть – поляки.

Вероятно, здесь недавно учился герой пушкинского рассказа «Пиковая дама» – военный инженер Германн. Про него Достоевский в «Подростке» потом говорил: «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип...»

Училище средней руки; окончившие его занимали положение между офицерами и чиновниками. Не вполне было выяснено, имеют ли они право носить усы или только бакенбарды.

Помещение после убийства Павла небрежно изменено, но не отремонтировано.

Оно сырело в туманах над неширокой Фонтанкой, над Мойкой.

Все знали, где был тронный зал императора, где спальня Павла, в которой его задушили. Показывали место на стене: здесь шел ход, теперь заложенный; он вел к каналу, где должна была стоять лодка на случай бегства императора. Не уплыл от смерти обитатель дворца. Теперь большие комнаты заставлены зелеными

плоскими кроватями со скупыми суконными, тщательно заправленными одеялами.

Федор Достоевский жил в круглой камере, в спальне роты, выходящей на Фонтанку. Здесь он писал, поставив свечу в жестяном шандале; здесь сидел и читал.

Внизу грязно-белый лед в гранитных набережных Фонтанки; цепной, в один пролет, ступешанный туманом мост висит над ним.

Нева спрятана за деревьями и туманом.

Медный всадник вспоминался постоянно: казалось, что только тот бронзовый человек на жарко дышащем загнанном коне тверд и постоянен в тумане, там, за окном.

То, что для нас история, было тогда вчерашним днем.

С восстания декабристов прошло только четырнадцать лет. На Сенатской площади говорили, понижая голос.

Юноша из Инженерного замка воспитывался сперва на Карамзине и Анне Радклиф, но он хорошо знал Пушкина и переписывался с братом Михаилом – инженером и переводчиком – о Шиллере, Гёте, Корнеле, Расине.

Тех людей, которые не понимали значения французской трагедии, юноша Федор Достоевский считал жалкими существами.

Сам он мечтал о славе, о богатстве, потому что был самолюбив и беден.

Он писал отцу, вымаливая деньги: «Лагерная жизнь каждого Воспитанника Военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег... В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды... Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».

Окончание письма сдержанно, иронично и озлобленно. Была бедность, вызывающая к себе презрение, угнетающая.

Вопрос о «чае» сводился не только к потребности согреться, но и к раненому самолюбию. Так было во всех почти училищах.

Вот что писал об этом В. Стасов в статье «Училища правоведения сорок лет тому назад» (в 1836–1842 гг.):

«Другая история у нас была с чаем. За него тожа должен был платить каждый, кто хотел его пить утром. Заплати в месяц столько-то, и тебя утром, тотчас после молитвы, ведут маршем и парами, с другими такими же «исключениями», как и ты сам, вниз, в столовую, а там уже стоят глиняные белые кружки с чаем, конечно, безвкусным и плохим, а все чаем... Кто из десятков мальчиков, оставшихся с одною булкою в руках, был виноват, что его отец или дядя не может платить столько-то рублей за дрянной этот чай, а между тем его пить хочется и нужно, а между тем укол самолюбию повторяется неизбежно, всякое утро, всякое утро».

Достоевский таких уколов получил в своей юности множество. Он находился почти на последних ступенях того общества, к которому хотел принадлежать. Обиду человека, которого затирают, не ставят в равню с другими, он пронес через всю жизнь и был всегда чужим среди своих, не попадая в счастливые «исключения».

Шел спор о своем месте в жизни. Спор спутанный, с неожиданными, но понятными повторами.

Были великие мечты.

В одном из своих длинных писем Достоевский как бы проговаривается о своих мечтах: «...видеть одну жестокую оболочку, под которой томится вселенная, зная, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностью, зная и быть как последнее из созданий... ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»

Здесь не столько мысль о самоубийстве, сколько сознание своей ответственности перед всей вселенной. Гамлет страдал не от страха перед смертью, а от необходимости исполнить долг справедливости, разорвать жесткую оболочку зла. Исполнение этого долга необходимо миру. Оно связано было для Достоевского с мыслью о литературе в самом крупном ее понимании; литература для Достоевского, о религиозности которого говорят так часто, стоит впереди мыслей о религии.

Он благоговел перед Гомером, но к Гомеру его, вероятно, привела книга Гёте «Страдания молодого Вертера». Вертер в своих письмах нашел в Гомере «колыбельную песню» и утешение на краю могилы.

В письме к брату Михаилу от 1 января 1840 года Достоевский пишет, что Гомер «баснословный человек может быть как Христос, воплощенный богом и к нам посланный...»

И рядом пишет про Гюго: «Только Гомер с такою же неколеблемою уверенностию в призвании, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит он, похож в [своем] направлении источника поэзии на Victor'a Hugo».

Рядом, тут же Державин сравнивается с Шекспиром (дело идет о поэзии), с Байроном и Пушкиным. Общий тон – религиозное отношение к литературе. Предполагалось ясным, что она может преобразовать мир.

Пока приходилось служить. Казенная дисциплина была скучна, брала очень много времени и усилий, но не казалась страшной: домашняя была страшнее; когда отец преподавал латынь, надо было стоять навытяжку.

Мать умерла, лежала в деревне под памятником, на котором была вырезана тщательно выбранная братьями строка из Карамзина, тогда еще не избитая. «Пойкой мильный прах до радостного утра». Молодой Достоевский был религиозен по Карамзину.

Христос в «Вертере» – товарищ молодого человека по страданиям. Для юноши так же горька чаша жизни, и он так же взывает: «Боже, боже! Зачем ты меня оставил».

Религиозная терминология и образы в каждую эпоху имеют свое содержание; с библейскими именами в поэмах Маяковского незачем спорить, он сам их опровергает.

Но соседство старых образов иногда способствует ошибкам, и человек старается убежать в прошлое, обманывая себя.

В начале августа 1839 года Федор Михайлович узнал страшную весть: отца его убили.

Иногда связывают с этой вестью случай первого появления эпилепсии у Достоевского.

Вопрос о начале падучей болезни у Федора Михайловича довольно темен. Воспитанника с явной эпилепсией в военную школу, вероятно, не приняли бы. Мы можем полагать, что во время обучения в Инженерном училище припадков у Достоевского не было. Но из писем Достоевского к доктору Яновскому мы



знаем, что Достоевский, во всяком случае, болел и до ареста.

В статье О. Миллера говорится: «Есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф. М., относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с трагическим случаем в их семейной жизни».

О. Миллер не решается передать сущность сообщения, хотя и говорит, что оно идет от самых близких лиц.

Л. Гроссман дополняет показания О. Миллера так: «По свидетельству Л. Ф. Достоевской, «семейное предание гласит, что с Д-им при известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии».

Младший брат Федора Михайловича, Андрей, рассказывает, что их отец был человеком очень тяжелым и помещиком своенравным и взыскательным. Кроме того, он был буен во хмелю.

«Выведенный из себя какими-то неуспешными действиями крестьян, а может быть, только казавшимися ему таковыми, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «ребята, карачун ему!» – и с этими возгласами все крестьяне, в числе 15 человек, накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним...»

Наехали чиновники из Каширы. Дело было, с одной стороны, для начальства неприятным, но, с другой стороны, оно оказывалось для чиновника так называемого «временного отделения» не безвыгодным.

Начался торг. «...знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, причем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногорова.

Прошло, я думаю, не менее недели после смерти и похорон отца, когда в деревню Даровую приехала бабушка Ольга Яковлевна. Бабушка, конечно, была на могиле отца в селе Моногарове, а из церкви заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцевы, т. е. муж и жена, не скрывали от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела, как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие: отца детям не воротить; что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убийстве отца и раскрылось бы со всею подробностью, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как все почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу.

Вот соображения, ежели только можно было допускать соображения по этому предмету, по которым убийство отца осталось нераскрытым и виновные в нем не потерпели заслуженной кары. Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца еще ранее меня, но и они молчали».

Федор Михайлович промолчал, как многие другие. Считалось, что в год погибает от крестьян и дворовых человек приблизительно по 20 помещиков. Цифры колебались, но не так сильно: 20, 16, 18.

На самом деле гораздо большее количество помещиков умирало будто бы от апоплексии, будто бы от мороза, будто бы от угара.

Об этих смертях молчали.

Молчал о смерти своего отца и ученик Инженерного училища Федор Достоевский, живущий в брошенном дворце, о смерти хозяина которого тоже молчали.

Молчал он не потому, что был робок и жаден или не захотел отомстить убийцам. Наследство тяготило его, и свою долю наследства он уступил за тысячу рублей. Опекун П. А. Карепин, судя по словам его, выделенным в письме к Федору Михайловичу, противился решению наследника, поступая так «из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности». Но Достоевский отвечает: «Повторяю свою просьбу и умоляю... помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни».

Деньги были получены: за день Достоевский прожил 900 рублей, а последнюю сотню тогда же проиграл на бильярде.

Деньги не держались у Федора Михайловича, он их мучительно добывал и легко разбрасывал.

В данном случае он, может быть, хотел и развязаться, стереть память о страшном деле.

Весть о смерти отца, насколько мы можем видеть по письмам, не вытеснили мысли его о литературе.

Пока он пытался состязаться с великанами, считая себя их достойным соперником.

Он писал Марию Стюарт – трагедию, уже написанную Шиллером, писал Бориса Годунова, написанного Пушкиным, – тоже заново.

Писал, сопоставляя себя с гигантами, чувствуя себя одновременно героем Гюго и героем од Державина.

Трудно представить себе человека, которого мы знаем по его литературным произведениям, вне литературы.

В литературе человек откровенней и прямей, чем в дружеском письме; литература дает ему средство, сравнивая себя с ее героями, противопоставляя свое написанному, выразить в результате именно самого себя в своей сущности.

Письма часто бывают традиционнее, связаннее литературного произведения: они ограничивают пишущего уже тем, что он точно представляет себе адресата и его восприятие.

Федор Михайлович в своих письмах к любимому брату Михаилу условнее, архаичнее, связаннее, чем в литературных набросках.

Узнав о смерти отца, Федор Михайлович пишет брату.

Со дня смерти уже прошло полмесяца, но известие, вероятно, задержалось в пути. Брат успел написать Федору Михайловичу, что хочет, получив в Ревеле офицерский чин, ехать в деревню воспитывать сестер.

Федор Михайлович сперва оправдывается в том, что ответ задержался: не было денег на отсылку письма.

«Ну вот наконец и тебе письмо мое!

Поговорим, потолкуем!

Милый брат! Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состояние наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше. Письмо мое отсылаю в Ревель, сам не зная, дойдет ли оно до тебя... Я наверно полагаю, что оно тебя не застанет здесь... Дай-то бог, чтобы ты был в Москве; тогда об семействе нашем я бы был покойнее; но скажи, пожалуйста: есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. А потому мысль твоя, получивши офицерский чин, ехать жить в деревню, по-моему, превосходна. Там бы ты занялся их образованием, милый

брат, и это воспитание было бы счастье для них. Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия вот следствия такого воспитания. Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле; но, милый друг, многое должен ты вынести».

Письмо довольно длинное, я привожу из него только отрывок.

Может быть, архаичность стиля вызвана необычностью повода. Выражение «стройная организация души среди родного семейства», «гордость добродетелей семейственных», само расположение слов, инверсии, то есть перестановки слов, некоторая торжественность письма, образы письма – «кости родителей» – все это мертво и официально.

Так не писали и во времена Карамзина.

Ни Михаил Михайлович, ни Федор Михайлович в деревню не поехали. Все это был прекраснотушный разговор, сказанный потому или, вернее, написанный потому (чернила здесь все время чувствуются), что живого слова, живого признания в ужасе происшедшего не было даже между двумя чрезвычайно любящими друг друга братьями.

Разговор здесь идет о другом, – не о смерти, а о благих намерениях.

Для того чтобы найти новое слово, нужно быть писателем. Сами по себе слова говорят только об общем. Самое типичное слово в словаре – «это», оно содержит в себе только указание без вскрытия сущности предмета, на который направлено внимание. Слова рождаются для указания и до конца не могут исчерпать предмет, не могут показать его сущность.

Искусство не рождается из слова, оно преодолевает слово. Словесными сочетаниями оно прорывается к миру, и для этого оно сопоставляет прежде существовавшие литературные явления, преодолевая их, стремясь увидеть то, что еще не увидено, описать существующее, но еще не описанное.

Писатель создает не словарь понятий, а способ новых раскрытий явлений.

Достоевский всю жизнь искал слово для конкретного выражения.

В. И. Ленин, конспектируя лекции Гегеля по истории философии, записывает:

«Подробно о том, что «вообще язык выражает в сущности лишь общее; но то, что мыслится, есть особенное, отдельное. Поэтому нельзя выразить в языке то, что мыслится».

Дальше он пишет: «NB в языке есть только *общее*».

Язык помогает человеку в отвлеченном мышлении. Он помогает мыслить общим, не возвращаясь к частному, мыслить языковыми формулами.

Но язык заменяет явления словами, тем самым в какой-то мере отодвигает самую действительность, заменяет ее «второй системой сигналов».

«Искусство» не может быть определено только как «художественное мышление», иначе мы получаем пересказ термина.

Литература словесна, но в ней существует и борьба со словом, для восстановления действительности, для полного ее ощущения, а не только для осмысливания и перевода в понятия.

В литературе идет борьба за возвращение действительности, за прикосновение к ней.

Мы имеем понятие – железнодорожная линия. Поэт пишет:

Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели:  
Молчали желтые и синие;  
В зеленых плакали и пели.

Железнодорожная линия выражена линией вагонов, в которых цвет стал частностью, характером, раскрытием.

Поэт как бы нарушает техническую полосу отчуждения, вводя технику в ощущение. Он пишет дальше:

(А. Блок. «На железной дороге»)

Перестановка частей термина восстановила ощущение явления, как бы затормозив восприятие, задержав его и выделив, пересоздав термин, вернув ощущение.

В литературе восстанавливается ощутимость мира, и это восстановление начинается с овладения языком, с переосмысливания его направленности.

Аристотель в XXI главе «Поэтики» пишет:

«Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное, или растяженное, или сокращенное, или измененное.

Общеупотребительным я называю то, которым пользуются все, а глоссой – то, которым пользуются немногие. Ясно, что глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же. Напр., дротик – у жителей Кипра общеупотребительное, а у нас оно глосса».

Словоупотребление меняется для создания эстетического переживания, которое служит средством познания конкретной существенности предмета.

Переправа – это переход с одного берега на другой.

Берег может быть или левым, или правым. Само название берега левым или правым как будто бы не обогащает нашего знания и не освежает его.

Но может быть случай, когда темой высказывания, центром картины является переправа. Твардовский пишет:

Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый.

Поэт как бы расчлняет понятие и возвращает свежесть восприятия того, что уже не воспринималось, делая это через прозаическое название берегов.

Теркину надо плыть через реку. Реку надо показать как преграду. А для этого надо отделить берег от берега, как бы раздвинуть их. Здесь нет ни образа, ни украшения, ни изменения, ни глоссы, но найден новый способ раскрытия ощущения в том, что стало понятием.

А. П. Чехов пишет к брату Александру 26 января 1887 года:

«Живется скучно, а писать начинаю скверно, ибо устал и не могу, по примеру Левитана, переворачивать свои картины вверх ногами, чтобы отучить от них свое критическое око».

Писатель не может переворачивать вверх ногами свой рассказ, но он проверяет ощущение через сюжетные изменения.

Горе извозчика, потерявшего сына, обновлено тем, что жалобы и рассказ старика обращены к усталой лошади.

Переворачивают не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы создать ощущение реального.